

10 декабря 1982 года

НАШ ВДУМЧИВЫЙ СОБЕСЕДНИК

Эти заметки — непосредственные ощущения от концертов, ставших праздником для зрителей. Заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер театра им. Моссовета Сергей Юрский снова выступал в Магнитогорске — в горно-металлургическом институте, на металлургическом комбинате (без концерта в одном из цехов ММК не обходится ни один приезд), в пединституте.

...Зрители уже разошлись, погас свет, но огромное пространство сцены, казалось, еще живет и дышит. Его все еще заполнял «незримый рой гостей».

Пел свои куплеты одноногий нищий солдат. Ковыляла старуха. Натужно кашлял, сидя на кладбищенской стене, старый еврей Арье Лейб. Продолжался мучительный диалог чекистов Борового и Симина. Воевал со своей грозной супругой Хиврей подвыпивший Солопий Черевик. Примеривался к орденской ленточке французский буржуа. И еще множество героев населяло этот странный, удивительный мир, вобравший в себя самые разные эпохи и характеры, ставший нам близким, благодаря одному-единственному человеку — Сергею Юрскому.

Юрский — наш вдумчивый собеседник. Через прозу и поэзию он говорит с нами о том, что всегда волновало и волнует человека. Что бы он ни читал (а читает Юрский Пушкина и Пастернака, Гоголя и Булгакова, Бабеля и Шукшина, Есенина и Мандельштама, многих других авторов), всегда это в чем-то главным образом о нашем времени.

У эстрады жесткие законы. В несколько секунд нужно «нарисовать» персонаж, создать образ без помощи вспомогательных технических средств. Актер с залом один на один. В его арсенале — только пластика, интонация. Юрский владеет этим в совершенстве. Ему этого хватает.

Читая «Одесские рассказы» Бабеля, Юрский воссоздает атмосферу старой Одессы, не сбиваясь на анекдот, рисуя речь и пластику каждого персонажа штрихом, намеком, без актерского нажима.

Мы отчетливо видим самого Юрского, его позицию в диалоге чекистов Борового и Симина, которым начинается и заканчивается повествование. Два стула (любимый «реквизит» Юрского) стоят рядом, но не на одной линии. Мизансцена подчеркивает конфликт. Симин — москвич, начальник одессита Борового. Оба совсем мальчишки (Юрский интонацией подчеркивает, что Симину только 23 года), оба служат одному делу, но между ними — расстрелянный Фроим Грач, с которым уходит старая Одесса... Юрский не выявляет чью-то правоту, не оправдывает своих героев. Он смотрит мудро на них и на это время.

В «Сорочинской ярмарке» Гоголя царит атмосфера старой чудесной сказки. Нас окружают простые, добрые и наивные люди, для которых слова «красная свитка», «черт» полны смысла таинственного и первозданного. А мы, зрители, даже не замечаем, как сами оказываемся в этой атмосфере. Когда же гаснет свет в зале и на сцене (свеча, стоящая на столе, освещает лицо актера, на ваднике колышется огромная тень) и кум начинает рассказ свой о красной свитке, вовсе попадаешь темной ночью в украинскую хату и ждешь «страшного» расска-

за, как ждет его, ватаив дыхание, Солопий Черевик.

Свеча. Стол. Два стула. Кусок красной ткани. Вот весь реквизит актера в «Сорочинской ярмарке». Но как обыгрывается каждая деталь! Как зримы образы — мы по одному движению рук, неуловимому изменению пластики узнаем Грицько и его будущую тещу, и цыгана, и даже «свиное рыло» (это кульминация ночного рассказа кума, и надо слышать, как реагирует зал на буднично, просто сказанные слова: «А что вы тут делаете, добрые люди?»).

Стихия веселья обрывается вдруг в конце нотой высокой и пронзительной, щемящей и грустной до слез. При обычном чтении, купаясь в чудном гоголевском тексте, не всегда замечаешь эту ноту. Юрский ее высвечивает.

Юрский — актер парадоксального мышления. Но парадоксы его — не самоцель. Они открывают неизвестное в известном, глубинный смысл того, что он читает. Поэтому он не боится брать известные произведения. И мы, часто наперед зная, какая фраза будет произнесена, никогда не знаем, как будет ее трактовать Юрский, где будет пауза, на чем будет поставлен акцент.

Что открывать в «Евгении Онегине»? Но, совершая еще одно путешествие по волнам пушкинского четырехстопного ямба (Юрский читает подряд главы четвертую, пятую и шестую), мы словно встречаемся с новым Пушкиным.

Знакомые, «проходные» места обретают неведомый доселе смысл. Открывается живая плоть пушкинской поэзии, и порой кажется, что читает свидетель событий, — так зримо и близко видим мы чудовищ из сна Татьяны, слышим хруст снега под ее башмачками, вчитываемся в ее письмо... Актер читает «Онегина» чрезвычайно скупно и сдержанно (ощущение неотвратимости катастрофы передается совершенно неуловимо). Лишь однажды он позволяет себе укрупнить актерские средства — в сцене дуэли. Голос срывается на крик («...почувств мертвого, храпят и бьются кони...»), рука рубит воздух, и столько в этом его личной страсти и боли...

Совсем не «оперный» расклад дуэли. Не грустное сожаление по поводу нелепости смерти Ленского. Тут иное. Юрский во всей страшной наготе открывает смысл шестой главы — когда светские условности, боязнь прослыть трусом в глазах общества оказываются губельными для умных людей, друзей и приводят к смерти одного из них.

Когда потрясают знакомые строки — это событие.

Юрский никогда не вырывается с залом. Не подстраивается под него. Не пытается просто рассмешить или расстрогать. И каким бы «трудным» ни был зал (а он «вычисляет» его мгновенно — профессиональный опыт и, если можно так сказать, «социологическая» интуиция просто феноменальные), актер относится к нему с предельным уважением. Герои Юрского любопытны ему своей человеческой неповторимостью. И он передает это ощущение нам, зрителям, всей силой своего таланта, обаяния, высоты мысли.

Поэтому мы не расстаемся с ним и его героями. Это остается в нас — как праздник души, возможный только при встрече с высоким искусством.

В. МОЗГОВОЙ.

212